

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Губернские очерки

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-3
ББК 84

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Губернские очерки / Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин – М.: Книга по Требованию, 2011. – 338 с.

ISBN 978-5-4241-3362-6

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, гениальный художник и мыслитель, блестящий публицист и литературный критик, талантливый журналист, был одним из самых ярких деятелей русского освободительного движения. Его дар - явление редчайшее. трудно представить себе классическую русскую литературу без Салтыкова-Щедрина.

ISBN 978-5-4241-3362-6

© Издание на русском языке, оформление, «
YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «
Книга по Требованию», 2011

Михаил Евграфович Салтыков-
Щедрин
Губернские очерки

ВВЕДЕНИЕ

В одном из далеких углов России есть город, который как-то особенно говорит моему сердцу. Не то чтобы он отличался великолепными зданиями, нет в нем садов пирамидных, ни одного даже трехэтажного дома не встретите вы в длинном ряде улиц, да и улицы-то всё немощеные; но есть что-то мирное, патриархальное во всей его физиономии, что-то успокоивающее душу в тишине, которая царствует на стогнах его. Въезжая в этот город, вы как будто чувствуете, что карьера ваша здесь кончилась, что вы ничего уже не можете требовать от жизни, что вам остается только жить в прошлом и перебаривать ваши воспоминания.

И в самом деле, из этого города даже дороги дальше никуда нет, как будто здесь конец миру. Куда ни взглянете вы окрест – лес, луга да степь; степь, лес и луга; где-где вьется прихотливым извивом проселок, и бойко проскачет по нем телега, запряженная маленькою резвою лошадкой, и опять все затихнет, все потонет в общем однообразии...

Крутогорск расположен очень живописно; когда вы подъезжаете к нему летним вечером, со стороны реки, и глазам вашим издалека откроется брошенный на крутом берегу городской сад, присутственные места и эта прекрасная группа церквей, которая господствует над всею окрестностью, – вы не оторвете глаз от этой картины. Темнеет. Огни зажигаются и в присутственных местах и в остроге, стоящих на обрыве, и в тех лачужках, которые лепятся тесно, внизу, подле самой воды; весь берег кажется усеянным огнями. И бог знает почему, вследствие ли душевной усталости или просто от дорожного утомления, и острог и присутственные места кажутся вам приютами мира и любви, лачужки населяются Филемонами и Бавкидами, и вы ощущаете в душе вашей такую ясность, такую кротость и мягкость... Но вот долетают до вас звуки колоколов, зовущих ко всенощной; вы еще далеко от города, и звуки касаются слуха вашего безразлично, в виде общего гула, как будто весь воздух полон чудной музыки, как будто все вокруг вас живет и дышит; и если вы когда-нибудь были ребенком, если у вас было детство, оно с изумительною подробностью встанет перед вами; и внезапно воскреснет в вашем сердце вся его свежесть, вся его впечатлительность, все верованья, вся эта милая слепота, которую впоследствии рассеял опыт и которая так долго и так всецело утешала ваше существование.

Но мрак все более и более завладевает горизонтом; высокие шпили церквей тонут в воздухе и кажутся какими-то фантастическими тенями; огни по берегу выступают ярче и ярче; голос ваш звонче и яснее раздается в воздухе. Перед вами река... Но ясна и спокойна ее поверхность, ровно ее чистое зеркало, отражающее в себе бледно-голубое небо с его миллионами звезд; тихо и мягко ласкает вас влажный воздух ночи, и ничто, никакой звук не возмущает как бы оцепневшей окрестности. Паром словно не движется, и только нетерпеливый стук лошадиного копыта о помост да всплеск вынимаемого из воды шеста возвращают вас к сознанию чего-то действительного, не фантастического.

Но вот и берег. Начинается суматоха; вынимаются причалы; экипаж ваш слегка трогается; вы слышите глухое позвякиванье подвязанного колокольчика; пристегивают пристяжных; наконец все готово; в тарантасе вашем появляется

шляпа и слышится: «Не будет ли, батюшка, вашей милости?» – «Трогай!» – раздается сзади, и вот вы бойко взбираетесь на крутую гору, по почтовой дороге, ведущей мимо общественного сада. А в городе между тем во всех окнах горят уж огни; по улицам еще бродят рассеянные группы гуляющих; вы чувствуете себя дома и, остановив ямщика, вылезаете из экипажа и сами идете бродить.

Боже! как весело вам, как хорошо и отрадно на этих деревянных тротуарах! Все вас знают, вас любят, вам улыбаются! Вон мелькнули в окнах четыре фигуры за четвероугольным столом, предающиеся деловому отдохновению за карточным столом; вот из другого окна столбом валит дым, обличающий собравшуюся в доме веселую компанию приказных, а быть может, и сановников; вот послышался вам из соседнего дома смех, звонкий смех, от которого вдруг упало в груди ваше юное сердце, и тут же, с ним рядом, произносится острота, очень хорошая острота, которую вы уж много раз слышали, но которая, в этот вечер, кажется вам особенно привлекательною, и вы не сердитесь, а как-то добродушно и ласково улыбаетесь ей. Но вот и гуляющие – всё больше женский пол, около которого, как и везде, как комары над болотом, роится молодежь. Эта молодежь иногда казалась вам нестерпимою: в ее стремлениях к женскому полу вы видели что-то не совсем опрятное; шуточки и нежности ее отзывались в ваших ушах грубо и матерьяльно; но в этот вечер вы добры. Если б вам встретился пылкий Трезор, томно виляющий хвостом на бегу за кокеткой Дианкой, вы и тут нашли бы средство отыскать что-то наивное, буколическое. Вот и она, крутогорская звезда, гонительница знаменитого рода князей Чебылкиных – единственного княжеского рода во всей Крутогорской губернии, – наша Вера Готлибовна, немка по происхождению, но русская по складу ума и сердца! Идет она, и издали несется ее голос, звонко командующий над целым взводом молодых вздыхателей; идет она, и прячется седовласая голова князя Чебылкина, высунувшаяся было из окна, ожигаются губы княгини, кушающей вечерний чай, и выпадает фарфоровая куколка из рук двадцатилетней княжны, играющей в растворенном окне. Вот и вы, великоленная Катерина Осиповна, также звезда крутогорская, вы, которой роскошные формы напоминают лучшие времена человечества, вы, которую ни с кем сравнить не смею, кроме гречанки Бобелины. Около вас также роятся поклонники и вьется жирный разговор, для которого неистощимым предметом служат ваши прелести. И все это так приветливо улыбается вам, всякому вы жмете руку, со всяким вступаете в разговор. Вера Готлибовна рассказывает вам какую-нибудь новую проделку князя Чебылкина; Порфирий Петрович передает замечательный случай из вчерашнего преферанса.

Но вот и сам его сиятельство, князь Чебылкин, изволит возвращаться от всенощной, четверней в коляске. Его сиятельство милостиво раскланивается на все стороны; четверня раскормленных лошадок влечит коляску мерным и томным шагом: сами бессловесные чувствуют всю важность возложенного на них подвига и ведут себя, как следует лошадям хорошего тона.

Наконец и совсем стемнело; гуляющие исчезли с улиц; окна в домах затворяются; где-где слышится захлопыванье ставней, сопровождаемое звяканьем засовываемых железных болтов, да доносятся до вас унылые звуки флейты, извлекаемые меланхоликом-приказным.

Все тихо, все мертво; на сцену выступают собаки...

Казалось бы, это ли не жизнь! А между тем все крутогорские чиновники, и в

особенности супруги их, с ожесточением нападают на этот город. Кто звал их туда, кто приклеил их к столь постылому для них краю? Жалобы на Крутогорск составляют вечную канву для разговоров; за ними обыкновенно следуют стремления в Петербург.

– Очаровательный Петербург! – восклицают дамы.

– Душка Петербург! – вздыхают девицы.

– Да, Петербург... – глубокомысленно отзываются мужчины.

В устах всех Петербург представляется чем-то вроде жениха, приходящего в полночи [1](Смотри Примечания 1 в конце книги); но ни те, ни другие, ни третьи не искренни; это так, *façon de parler*,¹ потому что рот у нас не покрыт. С тех пор, однако ж, как двукратно княгиня Чебылкина съездила с дочерью в столицу, восторги немного поохладились: оказывается, «*qu'on n'y est jamais chez soi*»,² что «мы отвыкли от этого шума», что «*le prince Курылкин, jeune homme tout-à-fait charmant, – mais que ça reste entre nous – m'a fait tellement la cour*,³ что просто совестно! – но все-таки какое же сравнение наш милый, наш добрый, наш тихий Крутогорск!»

– Душка Крутогорск! – пищит княжна.

– Да, Крутогорск... – отзывается князь, плотоядно улыбаясь.

Страсть к французским фразам составляет общий недуг крутогорских дам и девиц. Соберутся девицы, и первое у них условие: «Ну, *mesdames*, с нынешнего дня мы ни слова не будем говорить по-русски». Но оказывается, что на иностранных языках им известны только две фразы: *permettez-moi de sortir*⁴ и *allez-vous en*.⁵ Очевидно, что всех понятий, как бы они ни были ограничены, этими двумя фразами никак не выразишь, и бедные девицы вновь осуждены прибегнуть к этому дубовому русскому языку, на котором не выразишь никакого тонкого чувства.

Впрочем, сословие чиновников – слабая сторона Крутогорска. Я не люблю его гостиных, в которых, в самом деле, все глядит как-то неуклюже. Но мне отменно и весело шататься по городским улицам, особенно в базарный день, когда они кипят народом, когда все площади завалены разным хламом: сундуками, бураками, ведерками и проч. Мне мил этот общий говор толпы, он ласкает мой слух пуще лучшей итальянской арии, несмотря на то что в нем нередко звучат самые странные, самые фальшивые ноты. Взгляните на эти загорелые лица: они дышат умом и сметкою и вместе с тем каким-то неподдельным простодушием, которое, к сожалению, исчезает все больше и больше. Столица этого простодушия – Крутогорск. Вы видите, вы чувствуете, что здесь человек доволен и счастлив, что он простодушен и открыт именно потому, что не для чего ему притворяться и лукавить. Он знает, что что бы ни выпало на его долю – горе ли, радость ли, – все это его, его собственное [2], и не ропщет. Иногда только он вздохнет да промолвит: «Господи! кабы не было блох да становых, что бы это за рай, а не жизнь была!» – вздохнет и смирится пред рукою Промысла, соделавшего и Киферона, птицу сладкогласную, и гадов разных.

Купечества в Крутогорске нет. Коли хотите, проживают в нем так называемые негоцианты, но они пробубнилились до такой степени, что, кроме ношебного платья и неоплатных долгов, ничего не имеют. Сгубила их неосновательность рассудка да пристрастие к пиджакам и крепким напиткам. Пробовали было они поначалу, когда деньги еще кой-какие водились, на свой капитал торговать, да

нет, не спорится! Сведет негоциант к концу года счеты – все убыток да убыток, а он ли, кажется, не трудился, на пристани с лихими людьми ночи напролет не пропивывал, да последней копейки в картеж не проигрывал, все в надежде увеличить родительское наследие! – Не везет! Пробовали они и на комиссию закупы разного товара делать, и тут оказались провинности: купит негоциант щетины да для коммерческого оборота в нее песочку подсыплет, а не то хлебца такого поставит, чтоб хрусту побольше ощущалось – отказали и тут. Господи! совсем коммерцией заниматься нельзя.

Но вот наступает воскресенье; весь город с раннего утра в волнении, как будто томим недугом. На площадях шум и говор, по улицам езда страшная. Чиновники, не обуздываемые в этот день никаким присутственным местом, из всех сил устремляются к его превосходительству поздравить с праздником. Случается, что его превосходительство не совсем благосклонно смотрит на эти поклонения, находя, что они вообще не относятся к делу, но духа времени изменить нельзя: «Помилуйте, ваше превосходительство, это нам не в тягость, а в сладость!»

– Сегодня отличная погода, – говорит Порфирий Петрович, обращаясь к ее превосходительству.

Ее превосходительство слушает с видимым участием.

– Только жарко немножко-с, – отзывается уездный стряпчий, слегка привставая на кресле, – я, ваше превосходительство, потею...

– Как здоровье вашей супруги? – спрашивает ее превосходительство, обращаясь к инженерному офицеру, с очевидным желанием замять разговор, принимающий слишком интимный характер.

– Она, ваше превосходительство, всегда в это время бывает в таком положении...

Ее превосходительство решительно теряется. Общее смущение.

– А у нас, ваше превосходительство, – говорит Порфирий Петрович, – случилось на прошлой неделе обстоятельство. Получили мы из Рожновской палаты бумагу-с. Читали мы, читали эту бумагу – ничего не понимаем, а бумага, видим, нужная. Вот только и говорит Иван Кузьмич: «Позовемте, господа, архивариуса, – может быть, он поймет». И точно-с, призываем архивариуса, прочитал он бумагу. «Понимаешь?» – спрашиваем мы. «Понимать не понимаю, а отвечать могу». Верите ли, ваше превосходительство, ведь и в самом деле написал бумагу в палец толщиной, только еще непонятнее первой. Однако мы подписали и отправили. Общий хохот.

– Любопытно, – говорит его превосходительство, – удовлетворится ли Рожновская палата?

– Отчего же не удовлетворится, ваше превосходительство? ведь им больше для очистки дела ответ нужен: вот они возьмут да целиком нашу бумагу куда-нибудь и пропишут-с, а то место опять пропишет-с; так оно и пойдет...

Но я предполагаю, что вы – лицо служащее и не заживаетесь в Крутогорске подолгу. Вас посылают по губернии обревизовать, изловить и вообще сделать полезное дело.

Дорога! Сколько в этом слове заключено для меня привлекательного! Особливо в летнее теплое время, если притом предстоящие вам переезды неутомительны, если вы не спеша можете расположиться на станции, чтобы переждать

полуденный зной, или же вечером, чтобы побродить по окрестности, – дорога составляет неисчерпаемое наслаждение. Вы лежа едете в вашем покойном тарантасе; маленькие обывательские лошадки бегут бойко и весело, верст по пятнадцати в час, а иногда и более; ямщик, добродушный молодой парень, беспрестанно оборачивается к вам, зная, что вы платите прогоны, а пожалуй, и на водку дадите. Перед глазами вашими расстилаются необозримые поля, окаймляемые лесом, которому, кажется, и конца нет. Изредка попадаете по дороге починок из двух-трех дворов или же одиноко стоящая сельская расправа [3], и опять поля, опять лес, земли-то, земли-то! то-то раздолье тут земледельцу! Кажется, и жил бы и умер тут, ленивый и беспечный, в этой непробудной тишине!

Однако вот и станция; вы утомлены немного, но это – то приятное утомление, которое придает еще более цены и сладости предстоящему отдыху. В ушах ваших еще остается впечатление звуков колокольчика, впечатление шума, производимого колесами вашего экипажа. Вы выходите из вашего тарантаса и немного пошатываетесь. Но через четверть часа вы снова бодры и веселы, вы идете бродить по деревне, и перед вами разворачивается та мирная сельская идиллия, которой первообраз так цельно и полно сохранился в вашей душе. С горы спускается деревенское стадо; оно уж близко к деревне, и картина мгновенно оживляется; необыкновенная суета проявляется по всей улице; бабы выбегают из изб с прутьями в руках, преследуя тощих, малорослых коров; девчонка лет десяти, также с прутиком, бежит вся впопыхах, загоня теленка и не находя никакой возможности следить за его скачками; в воздухе раздаются самые разнообразные звуки, от мычанья до визгливого голоса тетки Арины, громко ругающейся на всю деревню. Наконец стадо загнано, деревня пустеет; только кое-где по завалинкам сидят еще старики, да и те позевывают и постепенно, один за другим, исчезают в воротах. Вы сами отправляетесь в горницу и садитесь за самовар. Но – о чудо! – цивилизация и здесь преследует вас! За стеною вам слышатся голоса.

– Как тебя зовут? – спрашивает один голос.

– Кого? – отвечает другой.

– Тебя.

– Меня-то?

– Ну да, тебя.

– Зовут-то?

– Ах, чтоб тебя...

Раздаются аплодисменты [4].

– Аким, Аким Сергеев, – торопливо отвечает голос. Ваше любопытство заинтересовано; вы посылаете разведать, что происходит у вас в соседях, и узнаете, что еще перед вами приехал сюда становой для производства следствия да вот так-то день-деньской и мается.

Вам внезапно делается грустно, и вы поспешно велите закладывать лошадей.

И снова перед вами дорога, снова свежий ветер нежит ваше лицо, снова обнимает вас тот прозрачный полумрак, который на севере заменяет летние ночи.

А полный месяц кротко и мягко освещает всю окрестность, над которою вьется, как пар, легкий ночной туман...

Да, я люблю тебя, далекий, никем не тронутый край! Мне мил твой простор и простодушие твоих обитателей! И если перо мое нередко коснется таких струн

твоего организма, которые издают неприятный и фальшивый звук, то это не от недостатка горячего сочувствия к тебе, а потому собственно, что эти звуки грустно и болезненно отдаются в моей душе. Много есть путей служить общему делу; но смею думать, что обнаружение зла, лжи и порока также не бесполезно, тем более что предполагает полное сочувствие к добру и истине.

ПРОШЛЫЕ ВРЕМЕНА

ПЕРВЫЙ РАССКАЗ ПОДЪЯЧЕГО

Свежо предание, а верится с трудом... [5]

«...Нет, нынче не то, что было в прежнее время; в прежнее время народ как-то проще, любовнее был. Служил я, теперича, в земском суде заседателем, триста рублей бумажками получал, семейством угнетен был, а не хуже людей жил. Прежде знали, что чиновнику тоже пить-есть надо, ну, и место давали так, чтоб прокормиться было чем... А отчего? оттого, что простота во всем была, начальственное снисхождение было – вот что!

Много было у меня в жизни случаев, доложу я вам, случаев истинно любопытнейших. Губерния наша дальняя, дворянства этого нет, ну, и жили мы тут как у Христа за пазушкой; съездишь, бывало, в год раз в губернский город, поклонись чем бог послал благодетелям и знать больше ничего не хочешь. Этого и не бывало, чтоб под суд попасть, или ревизии там какие-нибудь, как нынче, – все шло себе как по маслу. А вот вы, молодые люди, поди-ка, чай, думаете, что нынче лучше, народ, дескать, меньше терпит, справедливости больше, чиновники бога знать стали. А я вам доложу, что все это напрасно-с; чиновник все тот же, только тоньше, продувнее стал... Как послушаю я этих нынешних-то, как они и про экономию-то, и про благо-то общее начнут толковать, инда злость под сердце подступает.

Брали мы, правда, что брали – кто богу не грешен, царю не виноват? да ведь и то сказать, лучше, что ли, денег-то не брать, да и дела не делать? как возьмешь, оно и работать как-то сподручнее, поощрительнее. А нынче, посмотрю я, всё разговором занимаются, и всё больше насчет этого бескорыстия, а дела не видно, и мужичок – не слышать, чтоб поправлялся, а крихтит да охает пуще прежнего.

Жили мы в те поры, чиновники, все промеж себя очень дружно. Не то чтоб зависть или чернота какая-нибудь, а всякий друг другу совет и помощь дает. Проиграешь, бывало, в картишки целую ночь, всё дочиста спустишь – как быть? ну, и идешь к исправнику. „Батюшка, Демьян Иваныч, так и так, помоги!“ Выслушает Демьян Иваныч, посмеется начальнически: „Вы, мол, сукины дети, приказные, и деньгу-то сколотить не умеете, всё в кабак да в карты!“ А потом и скажет: „Ну, уж нечего делать, ступай в Шарковскую волость подать собирать“. Вот и поедешь; подати-то не соберешь, а ребятушкам на молочишко будет.

И ведь как это все просто делалось! не то чтоб истязание или вымогательство какое-нибудь, а приедешь этак, соберешь сход.

– Ну, мол, ребятушки, выручайте! царю-батюшке деньги надобны, давайте подати.

А сам идешь себе в избу да из окошечка посматриваешь: стоят ребятушки да затылки почесывают. А потом и пойдет у них смятение, вдруг все заговорят и руками замаханут, да ведь с час времени этак-то прохлаждаются. А ты себе сидишь, натурально, в избе да посмеиваешься, а часом и сотского к ним вышлешь: „Будет, мол, вам разговаривать – барин сердится“. Ну, тут пойдет у них суматоха пуще прежнего; начнут жеребий кидать – без жеребья русскому мужичку нельзя. Это,

значит, дело идет на лад, порешили идти к заседателю, не будет ли божецкая милость обождать до заработков.

– Э-э-эх, ребяташки, да как же с батюшкой-царем-то быть! ведь ему деньги надобны; вы хошь бы нас, своих начальников, пожалели!

И все это ласковым словом, не то чтоб по зубам да за волосы: „Я, дескать, взятки не беру, так вы у меня знай, каков я есть окружной!“ – нет, этак лаской да жаленьем, чтоб насквозь его, сударь, прошибло!

– Да нельзя ли, батюшка, хоть до покрова обождать?

Ну, натурально, в ноги.

– Обождать-то, для че не обождать, это все в наших руках, да за что ж я перед начальством в ответ попаду? – судите сами.

Пойдут ребята опять на сход, потолкуют-потолкуют, да и разойдутся по домам, а часика через два, смотришь, сотский и несет тебе за подожданье по гривне с души, а как в волости-то душ тысячи четыре, так и выйдет рублев четырехста, а где и больше... Ну, и едешь домой веселее.

А то вот у нас еще фортель какой был – это обыск повальный. Эти дела мы приберегали к лету, к самой страдной поре. Выедешь это на следствие и начнешь весь окольный народ сбивать: мало одной волости, так и другую прихватишь – всех тащи. Сотские же у нас были народ живой, тертый – как есть на все руки. Стонят человек триста, ну, и лежат они на солнышке. Лежат день, лежат другой; у иного и хлеб, что из дому взял, на исходе, а ты себе сидишь в избе, будто заправду занимаешься. Вот как видят, что время уходит – полевая-то работа не ждет, – ну, и начнут засылать сотского: „Нельзя ли, дескать, явить милость, спросить, в чем следует?“ Тут и смекаешь: коли ребята сговорчивые, отчего ж им удовольствие не сделать, а коли больно много артачиться станут, ну и еще погодят денек-другой. Главное тут дело – характер иметь, не скучать бездельем, не гнушаться избой да кислым молоком. Увидят, что человек-то дельный, так и поддадутся, да и как еще: прежде по гривенке, может, просил, а тут – шалишь! по три пятака, дешевле не могли и думать. Покончивши это, и переспросишь их всех скопом:

– Каков, мол, такой-то Трифон Сидоров? мошенник?

– Мошенник, батюшка, что и говорить – мошенник.

– А ведь он лошадь-то у Мокея украл? он, ребята?

– Он, батюшка, он должно.

– А грамотные из вас есть?

– Нет, батюшка, какая грамота!

Это говорят мужички уж повеселее: знают, что, значит, отпуск сейчас им будет.

– Ну, ступайте с богом, да вперед будьте умнее.

И отпустишь через полчаса. Оно, конечно, дела немного, всего на несколько минут, да вы посудите, сколько тут вытерпишь: сутки двое-трое сложа руки сидишь, кислый хлеб жуешь... другой бы и жизнь-то всю проклял – ну, ничего таким манером и не добудет.

Всему у нас этому делу учитель и заводчик был уездный наш лекарь. Этот человек был подлинно, доложу вам, необыкновенный и на все дела преостроумнейший! Министром ему быть настоящее место по уму; один грех был: к напитку имел не то что пристрастие, а так – какое-то остервенение. Увидит, бывало,